

Шепелёв Алексей. Звёздный враг [самовыражения]. М.: Выргород, 2025. — 160 с.

"В ДВЕНАДЦАТЬ часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идёт. И сам он тоже". Начало фильма "Игла", 1988.

"Мы там днели и ночевали в театре. И это были счастливые дни, и в уставе было сказано, что мы отказываемся от званий и не имеем права их иметь. Но жизнь — жестокая штука. Появились семьи, надо было зарабатывать деньги, потом появились автомобили, квартиры, стены и прочая ерунда, которая погубила



ники — ситуационисты. Такие интеллектуалы с сюрреалистическими замашками, которые после войны решили, что мир — это Спектакль. Не тот, где балерины танцуют, а тот, где каждый из нас — зритель в театре, который поставили СМИ. И мы даже не знаем, какой сегодня спектакль: драма, комедия или бесконечная реклама стирального порошка.

Дебор был суров. Когда в конце восьмидесятых его имя стали печатать в газетах на одной полосе с Майклом Джеконом, он просто взъял и застрелился. Не вынес, что стал частью того самого Спектакля, который ненавидел. У Шепелёва таких крайностей нет, но дух тот же: если ты против системы, не становись её экспонатом.

Язык как пластилин, который кто-то раздавил. Теперь о главном, о том, как это всё

лект Искусственный". Звучит это как если бы "Гражданская оборона" встретилась с дадаистами в пивной и решила записать альбом, пока никто не видит. Мозговывосяще, но честно.

Тут важно не перепутать Шепелёва с другими андеграундными деятелями. Было, например, такое явление — Южинский кружок. Это серьёзные дыдки, которые искали ответы на главные вопросы жизни, смерти и космоса. Они были как монахи, только без монастыря. Шепелёв — не такой. У него всё — игра. Намеренный эпатаж, доведение до абсурда, карнавал. Он не ищет истину, он ломает форму, чтобы посмотреть, как она будет разваливаться. И в этом есть своя правда. Не метафизическая, а самая что ни на есть человеческая.

РУССКИЙ ЦВЕТОК ДОБРА

творческое начало. Появились звания, и искусство закончилось на этом". Олег Даль.

Знаете, есть книги, после которых хочется выпить чаю и подумать о вечном. "Звёздный враг" не из таких. От него хочется налить себе чего-то покрепче и перечитать всё заново, потому что в первый раз ты был потрясён. И это, друзья мои, комплимент.

Если вы думали, что русский авангард умер вместе с обзриутами, то вы просто не слышали про Алексея Шепелёва и его "Общество Зрелища". Это такие ребята, которые в 1997 году решили, что попка это зло, а искусство должно быть таким, чтобы зрителю стало стыдно за то, что он на это смотрит. Метод называется "антикатарсис". По-нашему: никакого тебе очищения страданием, только унижение и восторг. Или только унижение. Тут как повезёт.

Надо сказать, Шепелёв не сам всё это выдумал из головы. У него были предшествен-

написано. Шепелёв работает со словами так, будто они ему надоели до смерти. Он ломает фонетику, выворачивает синтаксис наизнанку и смотрит, что получится. Критики говорят, что его поэзия — это "учебник языкознания, вывернутый от самого корешка". Звучит страшно, но на деле читать интересно, хотя и непривычно.

В книге восемь разделов. Названия только посмотрите: "Звёздный враг", "Человек, который не видел "Матрицу", "Из котоёе-сферы". Вы понимаете, о чём это? В этом и кайф. Ты не пытаешься понять, ты просто пропускаешь это через себя, как плохую музыку на хорошей громкости.

И да, музыка здесь тоже есть. В комплекте с книгой идёт компакт-диск — двадцать два трека группы "Общество Зрелища". Это не бонус, это часть концепции. Там есть песни с названиями вроде "Кьрё-тихь", "Я любил "Модерн токин", "Интел-

Кстати, если искать параллели на Западе, то самый близкий Пьер Гийота. Его роман "Эдем, Эдем, Эдем" написан одним предложением без точек и был запрещён. Там про войну, про насилие, про то, как тело может быть полем боя. Шепелёв не про войну, он про язык, но суть одна: текст должен менять сознание. Как говорил Ролан Барт про Гийота, его книги не рассказывают историю, они создают новую реальность. То же самое можно сказать и про нашего героя. Тотальный реализм у него постсоветская, ироничная и как будто бы даже весёлая, если не вдумываться. "Звёздный враг [самовыражения]" — это не просто книга стихов. Это манифест, арт-проект и звуковой перформанс под одной обложкой, который не оттолкнёт вас своей эпатажностью, а затянет в свою орбиту, заставив пересмотреть границы поэзии и музыки.

Влад ЛЕБЕДЕВ

Иванов Андрей. Непримирымый черносотенец. Александр Иванович Дубровин. — СПб.: Владимир Даль, 2026. — 596 с.

АВТОР рецензируемой книги, доктор исторических наук Андрей Александрович Иванов из Санкт-Петербурга, написал первую в мировой историографии научную биографию Александра Ивановича Дубровина (1855—1921). Историк, издавший ранее монографии о В.М. Пуришкевиче и Н.Е. Маркова, решился без гнева и пристрастия распутать клубок из слухов, сплетен, злонамеренных выдумок и реальных фактов в судьбе героя своего исследования.

При жизни Дубровину были посвящены сотни противоречивых статей в изданиях различной политической направленности. Его поминали недобрым словом либералы и революционеры. Ему доставалось от правых деятелей (И.И. Восторгова, Н.Е. Маркова, В.М. Пуришкевича), русских националистов и столыпинцев (М.О. Меньшикова, Л.А. Тихомирова). В сатирических журналах на него рисовали злые карикату-



«КОММУНИСТ-МОНАРХИСТ»

ры. С.Ю. Витте в воспоминаниях отзывал его проходчиком, мошенником, подонком, сволочью, лейб-кабатчиком, каторжником, мазуриком, героем вонючего рынка, негодяем реакционных трущоб, политическим хулиганом и разбойником! С другой стороны, многочисленные письма рядовых черносотенцев, публиковавшиеся на страницах газеты "Русское знамя", при всём их "наивном вождизме" и простонародном языке, характеризовали Дубровина как борца за народные интересы.

Заслугой Иванова стало уточнение множества данных. В частности, вопреки бытовавшему мнению, он доказывает, что Дубровин родился 7 апреля 1855 года не в Кунгуре, а в Камышлове Пермской губернии, подтверждая информацию документами из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). В книге впервые приводится родословная Дубровина, кратко описываются его детство и молодость. Интересны сведения о жене Дубровина и его сыновьях Александре и Николае (в начале 1920-х годов они были живы и находились на советской службе, но их дальнейшая судьба неизвестна).

В монографии подробно прослеживается врачебная карьера будущего политика. Иванов опровергает распространённое мнение о принадлежности перу Дубровина двух книг о домашней медицине и самолечении (вождь чёрной сотни ошибочно указав в качестве их автора в каталогах крупнейших российских библиотек). В этих книгах не совпадают полностью инициалы, к тому же в год, когда вышло первое издание одной из них, будущий политик был ещё студентом первого курса, а не "практиком-врачом", как указано в самой книге. Нет сведений и о том, что Дубровин когда-либо защищал диссертацию по медицине, поэтому закрепившееся за ним наименование "доктор Дубровин" говорит лишь о принадлежности к врачебной корпорации, а не о наличии степени доктора медицины. Зато Иванов подтверждает информацию о том, что в начале медицинской карьеры Дубровин состоял врачом еврейского детского приюта, а также факт наличия у Дубровина накануне "похода в политику" значительного имущества доктора по ведомости 1906 года составляла 116 563 рубля. В политику Дубровина привела отнюдь не жажда денег! Как практикующий медик он был вполне успешен, и именно политика погубила его карьеру

врача (как и у французского коллеги, доктора Л.-Ф. Селина).

ИСТОРИК Иванов показывает, что стремительный политический взлёт Дубровина связан не столько с поддержкой со стороны царских властей или спецслужб, сколько с выходом народных масс на историческую сцену в период революционных событий. Тогда, помимо революционных вождей, возглавивших "красные сотни", появились и вышли на улицы лидеры "чёрных сотен". Столкнулись две мощные народные волны. И те и другие, действуя непарламентскими методами, стремились возглавить и направить народную стихию в выгодное им русло. Когда впоследствии Дубровин называл себя демократом, то это были не просто слова. Он действительно позиционировал себя как народный вождь. Благодаря своей неподцензурности, иногда граничившей с нецензурностью, его "Русское знамя" публиковало такие тексты "народных трибунов", которые не отваживались печатать официальные монархические издания. Черносотенная "Стрела" подчёркивала ориентированность лидера Союза русского народа на простого мужика, отмечая, что он "дал России первую и пока единственную большую мужицкую газету "Русское знамя", и, разумеется, никто не знает мужика так, как хозяин этой газеты — А.И. Дубровин". Даже В.И. Ленин признавал: "В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточное внимания. Это — тёмный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий". Дубровин и его газета — это монархизм низов, грубый, не приглядный, но понимаемый и принимаемый ими. Характерно, что в 90-е годы XX века в России появился ряд правомонархических изданий ("Земщина", "Память", "Русское воскресенье", "Чёрная сотня"); было недолго возрождено и "Русское знамя"), которые продавались в пригородных электричках, в переходных метро, у столбиков музея В.И. Ленина или у Гостиного двора в Петербурге. Эти газеты активно приобретались не столько консервативными интеллектуалами, сколько обычными людьми "из низов".

Дубровин, как бы сейчас сказали, был внесистемщиком, на-

зывавшим себя "самым ярым протестантом", поскольку, невзирая на чины и звания, боролся с сильными мира сего ради блага простого народа. Блага, естественно, в его понимании. Попытки чиновников обуздать нападавшего на царскую бюрократию Дубровина "кнутом" штрафов не сработали. "Пряник" денежных субсидий не помогал. Деньги от власти он брал, но лояльности к П.А. Столыпину и прочим не проявлял. К тому же у него появился состоятельный спонсор (богатая купеческая вдова Е.А. Полубояринова). Поступали небольшие средства и от читателей "Русского знамени". Дубровин использовал государственную систему (как и она его), но абсолютно верил только самодержцу, хотя незадолго до революции признал: "Развал идёт гигантскими шагами. И вряд ли удастся что-либо предупредить или устранить — нельзя быть роялистом больше короля".

Подробности послереволюционной судьбы Дубровина десятилетиями были неизвестны. Датой его расстрела называли 1918, 1920 и 1921 годы. Хранящиеся в Центральном архиве Федеральной службы безопасности России (ЦА ФСБ России) материалы следственного дела Дубровина были впервые озвучены в выступлениях А.В. Репникова и В.Г. Макарова на всероссийской научной конференции "Россия и Запад: взгляд консерватора", состоявшейся в Ростове-на-Дону 13—14 декабря 2003 года. В 2004 году эти документы были опубликованы Макаровым, а в 2010 году вместе с дополнительными материалами вошли в сборник "Репрессированная интеллигенция".

ИВАНОВ, на мой взгляд, правильно понял, что не желанием "понравиться" чекистам были обрешены слова Дубровина, обращённые к участвовавшей в его допросе осенью 1920 года троице (М.Я. Лацису, В.Р. Менжинскому и Б.М. Фуряну): "Я по убеждению коммунист-монархист, то есть чтобы при монархическом правлении были бы все те формы правления, которые могли бы принести народу улучшение его благосостояния, для меня были священны всякие кооперации, ассоциации и так далее. Я был за это, и в этом смысле я коммунист". Обращу внимание и на произнесённую затем фразу Дубровина: "Если вы пой-

мёте, то не будете улыбаться". Скорее всего, улыбчивые чекисты к тому времени уже решили судьбу "коммуниста-монархиста". В заключении следователя Особого отдела ВЧК В.Д. Фельдмана по делу Дубровина в пункте 2 "Показания свидетелей" написано: "Вся Россия знает о деятельности Союза русско(го) народа", а в пункте 3 "Вещественные доказательства" стоит прочерк! Первоначально дело Дубровина намеревались закончить показательно политическим процессом, но от этого почему-то отказались. 14 апреля 1921 года было принято решение о расстреле. Впрочем, приговор Дубровину мог быть приведён в исполнение и до вынесения данного решения, то есть в период с 11 по 14 апреля 1921 года (наиболее вероятным временем расстрела можно считать апрель). Официальных сообщений о расстреле лидера чёрной сотни в советской прессе не появилось, а место его захоронения неизвестно.

Обозначу и судьбу чекистов, причастных к делу Дубровина: Валескалн П.И. — скончался в 1987-м; Лацис М.Я. — расстрелян в 1938-м, реабилитирован в 1956-м; Фурянов Б.М. — расстрелян в 1937-м, реабилитирован в 1957-м; Шанин А.М. — расстрелян в 1937-м, не реабилитирован; Ягода Г.Г. — расстрелян в 1938-м, не реабилитирован.

Дубровин был реабилитирован по заключению Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 7 сентября 1998 года. Попытка найти в Басманном районе Москвы последний адрес, по которому Дубровин проживал у сына Александра (Денисовский переулок, д. 9, кв. 1), не увенчалась успехом. Практически все старые дома давно снесены, а на их месте построены пятиэтажки и более поздние новостройки. По странному совпадению, неподалью находится памятная доска, сообщающая о том, что здесь "был злодейски убит агентом царской охраны член Московского организации большевиков Николай Эрнестович Бауман".

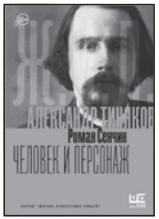
Александр РЕПНИКОВ

На фото: открытие Голпицкого Отдела Союза Русского Народа. 1911 г.

ТИХИЙ БУНТ

Сенчин Роман. Александр Тиняков. Человек и персонаж. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2025. — 384 с. — (Жизнь интересных людей)

В УГОЛОВНОМ деле № П-78195 из архива УФСБ по Санкт-Петербургу среди стандартных анкет лежит пожелтевший листок из школьной тетради. На нём торопливым почерком выведены цифры: "Сбор 3 р. 44 к.", следом — жалоба на отсутствие мелкой наличности у прохожих, а чуть ниже — ядовитая политическая сатира о кремлёвских вождях. Дата под текстом — июль 1930 года. Эти бухгалтерские выкладки соседствуют с антисоветскими частушками не ради конспирации автора; он просто фиксирует окружающую его реальность. Это мир Александра Тинякова, который четвёртый год зарабатывает на хлеб профессиональным стоянием на Литейном проспекте с картонкой "Подайте на хлеб писателю, впашему в нужду".



Обвинение стандартно для той осени: контрреволюционная агитация, монархические настроения. Но главным вещественным доказательством следователь указывает две книги стихов и школьную тетрадь с дневником. Листая эти страницы, невозможно отделаться от мысли, что классическая версия биографии Тинякова лжёт. Нам десятилетиями рассказывали историю неизбежного гниения декадента-маргинала, но факты сопротивляются мелодраме. Там, где мы ожидаем увидеть пьяный бред, зафиксированы жалобы на тесноту коммунальной кухни; там, где должна быть экзистенциальная тоска — сухая запись о гонораре Всеволода Вишневского, выдавшего пятьдесят копеек вместо обещанного рубля. Его нищество не было бессознательным скольжением во тьму. Это была хирургически точная операция по извлечению себя из социума. Государство монополизировало литературу, превратив её в казённую службу, и Александр Иванович ответил симметрично: он приватизировал собственную деградацию, превратив своё тело, запах перегара и дырявые подошвы в последний неподцензурный роман.

Роман Сенчин в книге "Александр Тиняков. Человек и персонаж" берёт этот жуткий перформанс за отправную точку, чтобы распутать клубок куда более сложный, чем биография обычного неудачника. Перед нами разворачивается анатомия абсолютной литературной всеядности, которая парадоксальным образом сделала Тинякова самым точным зеркалом эпохи. Зеркалом, смотреться в которое современникам было невыносимо стыдно, отчего они постылись объявить отражение кривым, а самого носителя — клиническим сумасшедшим.

Однако именно эта безразличность выживших — от Георгия Иванова до Владислава Ходасевича — позволила им легитимизировать собственный компромисс с эпохой. Они выжили иначе: печатались в большевистских газетах или уезжая на Запад. Подлинная мерзость времени отпечаталась только на костылях медленно идущего по Надеждинской улице калеки-поэта.

Сенчин выбирает честную оптику. Название "Человек и персонаж" отсылает к главному конфликту жанра: как разделить реальную личность со всей грязью быта от художественного образа? Отказавшись от академической сухости и публицистического пафоса, автор выстраивает повествование, движущееся вязко и тяжело — точно-в-точь как шаг героя по осеннему Литейному. Главный вывод книги — история о том, как литература пожирала своих детей, когда они пытаются превратить собственную жизнь в жанр.

Погружение начинается с физиологии. Биография строится не на парадигмах Серебряного века, а на запахах пивных отдушин и ревматических болях в ногах от долгого стояния на панели. Дневники поэта за 1929–1930 годы производят отгушающее впечатление своей будничной интонацией перед лицом бездны. На страницах, подшитых к делу, красным карандашом Тиняков фиксирует курс рубля, количество собранной мелочи (три рубля сорок четыре копейки), головную боль после вчерашнего и политические пророчества сквозь призму похмелья.

Уютный миф об "опустившемся гении" трещит по швам. Превращение автора в профессионального попрошаюку не было следствием белой горячки. Как подчёркивает Глеб Морев, это был осознанный политический демарш — добровольное принятие статуса изгой, самая радикальная форма забастовки, доступная интеллигенту тех лет. Когда государство монополизировало слово, Тиняков вынес протест на панель. Картонка с надписью "писателю, впашему в нужду"

работала как антиплакат, демонстрируя реальный результат культурной революции.

Для Сенчина непримемлемо оправдывать зло обстоятельством. Эволюция Тинякова в Чудакова — это успешная мимикрия, добровольное выжигание совести ради того, чтобы лёгкие продолжали втягивать воздух. История глубокой заморозки чувствительности. Язык погрёма и язык партсобраний звучат для него одинаково — как белый шум, необходимый лишь для оплаты счёта в рюмочной. Черносотенная ярость и классовая бдительность оказываются двумя сторонами одной медали. Кульминацией этой дегуманизации становится поэма "Радость жизни". Вид погребальных процессий, дарующий сердцу радость, маркирует финал превращения человека в элемент городской фауны. Сенчин вскрывает экологию этого существа: оно способно существовать только в симбиозе с разложением. Чтобы чувствовать собственное сердцебиение, Тинякову нужно припасть ухом к груди мертвеца. Гибель Гумилёва для него — не трагедия коллеги, а повод для самопрезентации над окровавленным телом.

История 1916 года предстаёт мистерией первородного греха, разыгранной в катакомбах декаданса. Обнаружение двойной игры разрушает иллюзию святости ордена: иконы эстетства осыпаются трухой. Реакция круга напоминает суд инквизиции. Ремизов играет роль юродивого заступника, спасающего рукописи собрата, пока тошнота окончательно не берёт верх. Ходасевич примеряет маску Великого Инквизитора, наблюдая за конвульсиями жертвы в холодном любопытством препаратора. Травля была актом ритуальной гигиены: сбрасывая маргинала за борт, участники очищали собственный воздух, получая индульгенцию на свои сделки с совестью.

Центральное место занимает посмертная метаморфоза. Из реального человека Тиняков превращается в функцию, удобную мишень для мемуаристов эмиграции. Георгий Иванов делает из него карикатурного злодея в "Петербургских зимах" — кривое зеркало, глядя в которое можно любоваться собственным благородством. Сенчин тонко подмечает завистливую природу этих воспоминаний: эмигрант пил водку с живым поэтом, слушал его шокирующие стихи, а затем использовал эти образы для создания мифа о себе как о главном страдальце эпохи.

ЯЗЫК самого Сенчина заслуживает отдельного внимания. Сухие выписки из протоколов ОГПУ сменяются кинематографическими сценами: вот поэт сидит на Мальцевском рынке времён Керенского в рединготе; вот встречает Ахматову на Симеоновской улице, и та кладёт ему в шапку двугривенный; вот он идёт на костылях по Надеждинской летом 1934 года, сохраняя на воспалённом лице оттенок старого петербургского интеллигента.

Эта деталь подводит итог трагедии. Перед нами обломок кораблекрушения. Тиняков возвращается в Петроград снова и снова, потому что вне этого гниющего камня он перестаёт существовать. Деревня отвергла его как ренегата, столица исторгала физически, но притягивала магнитом культурного центра. Его смерть 17 августа 1934 года в Марининской больнице проходит фоном к Первому съезду советских писателей.

История Тинякова на контрасте с Клюевым и Есениным обнажает отказ от концепта "поэта-пророка". Те двое пытались сохранить статус жрецов: один охранял алтарь Избы, другой приносил себя в жертву Престолу. Тиняков первым сбросил эту мантию. Он понял, что мегаполису нужен обслуживающий персонал, хроникёр помоек и дешёвый репортёр. И Александр Иванович принял этот контракт. Он растворился в Петербурге духовно, став частью инвентаря каменного склепа. Пока Клюев и Есенин ломали кости о поребрики чужого мира, Тиняков скользил по ним спином.

Книга оставляет тяжёлое, саднящее чувство. Это рекевие не по таланту — стихов хватило бы на небольшую антологию посредственности. Это рекевие по возможности честного поражения. Тиняков проиграл всё: убеждения, репутацию, человеческий облик. Но своим нисхождением на дно он оставил документы времени, которых так не хватало молчаливым свидетелям коллективизации. Протоколы его допросов и записи о найденных двух копеек звучат сегодня страшнее эпических полотен о гибели империи.

Время расставило всех по местам: архивы романтиков стали реликвиями, а архив циника десятилетиями лежал неразобраным мусором. Роман Сенчин вернул этому человеку имя, показав, что истинная мерзость заключается не в падении, а в попытке судить того, кто осмелился упасть честно, оставшись прозрачным в своём эгоизме, страхе и отчаянии.

Анатолий ВАЛЕВСКИЙ